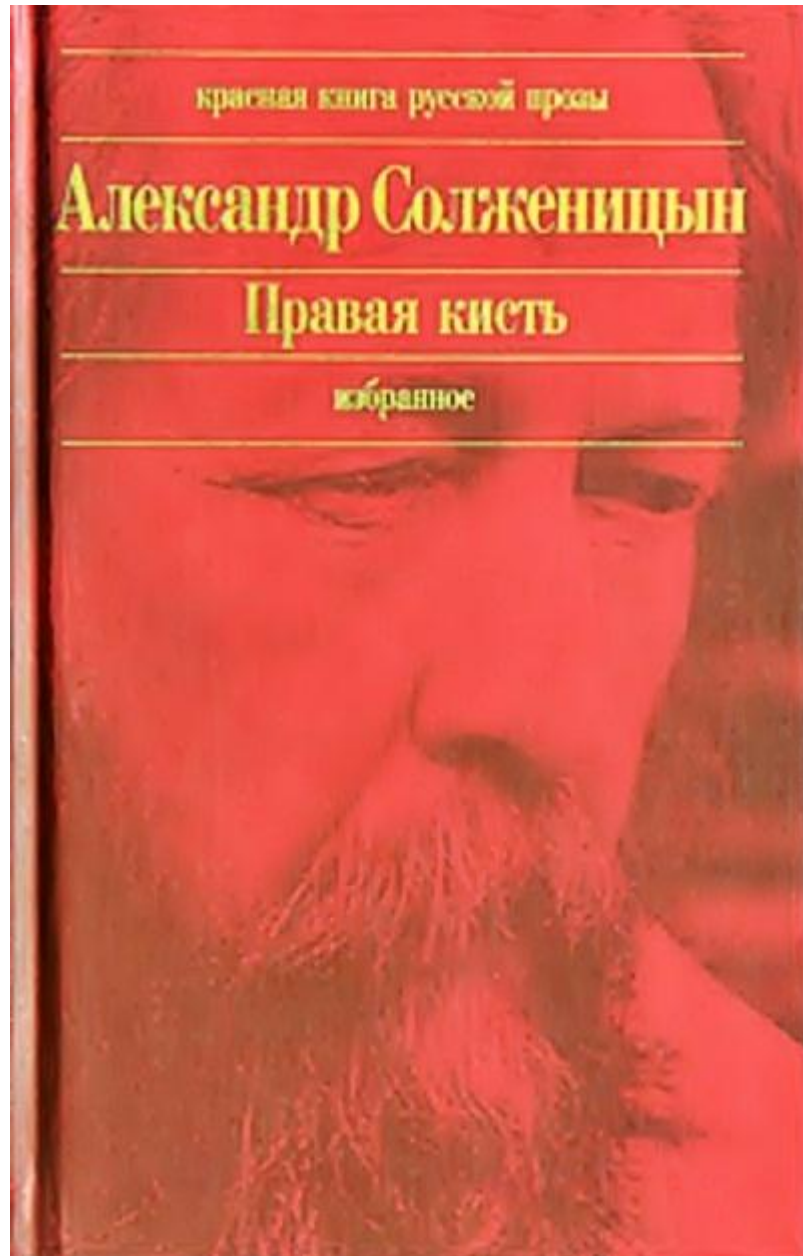


А. И. Солженицын "ПРАВАЯ КИСТЬ"



ПРАВАЯ КИСТЬ

В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда — умирать.

А меня вернули пожить ещё.

Это был месяц, месяц и ещё месяц. Непуганая ташкентская весна прошла за окнами, вступила в лето, повсюду густо уже зеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами.

Ещё не смея сам себе признаться, что я выздоравливаю, ещё в самых залётных мечтах измеряя добавленный мне срок жизни не годами, а *месяцами*, — я медленно переступал по гравийным и асфальтовым дорожкам парка, разросшегося меж корпусов медицинского института. Мне надо было часто присаживаться, а иногда, от разбирающей рентгеновской тошноты, и прилечь, понижее спустив голову.

Я был и таким, да не таким, как окружающие меня больные: я был много бесправнее их и вынужденно безмолвней их. К ним приходили на свидания, о них плакали родственники, и одна была их забота, одна цель — выздороветь. А мне выздоравливать было почти что и не для чего: у тридцатипятилетнего, у меня не было во всём мире никого родного в ту весну. Ещё не было у меня — паспорта, и если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту много-плодную сторону — и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был навечно, под гласный надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение.

Обо всём этом я не мог рассказать окружающим меня *вольным* больным.

Если б и рассказал, они б не поняли...

Но зато, держа за плечами десять лет медлительных размышлений, я уже знал ту истину, что подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом. Вот в этом неуверенном переступе ещё слабыми ногами. В осторожном, чтоб не вызвать укола в груди, вдохе. В одной не побитой морозом картофелине, выловленной из супа.

Так весна эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни.

Всё было для меня забыто или не видано, всё интересно: даже тележка с мороженым; даже подметальщик с брандспойтом; даже торговки с пучками продолговатой редиски; и уж тем более — жеребёнок, забредший на травку через пролом в стене.

День ото дня я отваживался отходить от своей клиники и дальше — по парку, посаженному, должно быть, ещё в конце прошлого века, когда клались и эти добротные кирпичные здания с открытой расшивкою швов. С восхода торжественного солнца весь южный день напролёт и ещё глубоко в жёлто-электрический вечер парк был наполнен оживлённым движением. Быстро сновали здоровые, неспешно расхаживали больные.

Там, где несколько аллей стекались, в одну, идущую к главным воротам, — белел большой алебастровый, Сталин с каменной усмешкой в усах. Дальше по пути к воротам с равномерной разрядкой расставлены были и другие вожди, поменьше.

Затем стоял писчебумажный киоск. Продавались в нём пластмассовые карандашики и заманчивые записные книжечки. Но не только деньги мои были сурово считанные, — а и книжки записные у меня уже в жизни бывали, потом попали *не туда*, и рассудил я, что лучше их никогда не иметь.

У самых же ворот располагались фруктовый ларёк и чайхана. Нас, больных, в полосатых наших пижамах, в чайхану не пускали, но загородка была открытая, и через неё можно было смотреть. Живой чайханы я в жизни не видал — этих отдельных для каждого чайников с зелёным или чёрным чаем. Была в чайхане европейская часть, со столиками, и узбекская — со сплошным помостом. За столиками ели-пили быстро, в испитой пиале оставляли мелочь для расплаты и уходили. На помосте же, на циновках под камышёвым тентом, натянутым с жарких дней, сидели и полёживали часами, кто и днями,

выпивали чайник за чайником, играли в кости, и как будто ни к каким обязанностям не призывал их долгий день.

Фруктовый ларёк торговал и для больных тоже — но мои ссыльные копеечки поёживались от цен. Я рассматривал со вниманием горки урюка, изюма, свежей черешни — и отходил.

Дальше шла высокая стена, за ворота больных тоже не выпускали. Через эту стену по два и по три раза на день переваливались в медицинский городок оркестровые траурные марши (потому что город — миллионный, а кладбище было — тут, рядом). Минут по десять они здесь звучали, пока медленное шествие миновало городок. Удары барабана отбивали отрешённый ритм. На толпу этот ритм не действовал, её подёргивания были чаще. Здоровые лишь чуть оглядывались и снова спешили, куда было нужно им (они все хорошо знали, что было нужно). А больные при этих маршах останавливались, долго слушали, высовывались из окон корпусов.

Чем явственней я освобождался от болезни, чем верней становилось, что останусь жив, тем тоскливей я озирался вокруг: мне уже было жаль это всё покидать.

На стадионе медиков белые фигуры перебрасывались белыми теннисными мячами. Всю жизнь мне хотелось играть в теннис, и никогда не привелось. Под крутым берегом клочкотал мутно-жёлтый бешеный Салар. В парке жили осеняющие клёны, раскидистые дубы, нежные японские акации. И восьмигранный фонтан взбрасывал тонкие свежие серебрянки струй — к вершинам. А что за трава была на газонах! — сочная, давно забытая (в лагерях её велели выпалывать как врага, в ссылке моей не росла никакая). Просто лежать на ней ничком, мирно вдыхать травяной запах и солнцем нагретые воспарения — было уже блаженство.

Тут, в траве, я лежал не один. Там и сям зубрили мило свои пухлые учебники студентки мединститута. Или, захлёбываясь в рассказах, шли с зачёта. Или, гибкие, покачивая спортивными чемоданчиками, — из душевой стадиона. Вечерами неразличимые, а потому тройне притягательные, девушки в нетроганных и троганных платьицах обходили фонтан и шуршали гравием аллеек.

Мне было кого-то разрывающе жаль: не то сверстников моих, перемороженных под Демьянском, сожжённых в Освенциме, истравленных в Джеккагане, домирающих в тайге — что не нам достанутся эти девушки. Или девушек этих — за то, чего мне им никогда не рассказать, а им не узнать никогда.

И целый день гравийными и асфальтовыми дорожками лились женщины, женщины, женщины! — молодые врачи, медицинские сёстры, лаборантки, регистраторши, кастелянши, раздатчицы и родственницы, посещающие больных. Они проходили мимо меня в снежно-строгих халатах и в ярких южных платьях, часто полупрозрачных, кто побогаче — вращая над головами на бамбуковых палочках модные китайские зонтики — солнечные, голубые, розовые. Каждая из них, промелькнув за секунду, составляла целый сюжет: её прожитой жизни до меня, её возможного (невозможного) знакомства со мной.

Я был жалок. Исхудалое лицо моё несло на себе пережитое — морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубенелой кожи, недавнее отравление ядами болезни и ядами лекарств, отчего к цвету щёк добавилась ещё и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки кончались выше щиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вывешивались уголки портянок, коричневых от времени.

Последняя из этих женщин не решилась бы пройти со мною рядом!.. Но я не видел сам себя. А глаза мои не менее прозрачно, чем у них, пропускали внутрь меня — мир.

Так однажды перед вечером я стоял у главных ворот и смотрел. Мимо стремился обычный поток, покачивались зонтики, мелькали шёлковые платья, чесучовые брюки на светлых поясах, вышитые рубахи и тюбетейки. Смешивались голоса, торговали фруктами, за загородкою пили чай, метали кубики — а у загородки, привалившись к ней, стоял нескладный маленький человечек, вроде нищего, и задыхающимся голосом иногда обращался:

— Товарищи... Товарищи...

Пёстрая занятая толпа не слушала его. Я подошёл:

— Что скажешь, браток?

У этого человека был непомерный живот, больше, чем у беременной — мешком обвисший, распирающий грязно-защитную гимнастёрку и грязно-защитные брюки. Сапоги его с подбитыми подошвами были тяжелы и пыльны. Не по погоде отягощало плечи толстое расстёгнутое пальто с засаленным воротником и затёртыми обшлагами. На голове лежала стародавняя истрёпанная кепка, достойная огородного пугала.

Отёчные глаза его были мутны.

Он с трудом приподнял одну кисть, сжатую в кулак, и я вытянул из неё потную измятую бумажку. Это было угловато написанное цепляющимся по бумаге пером заявление от гражданина Боброва с просьбой определить его в больницу — и на заявлении искоса две визы, синими и красными чернилами. Синие чернила были горздравские и выражали разумно-мотивированный отказ. Красные же чернила приказывали клинике мединститута принять больного в стационар. Синие чернила были вчера, а красные — сегодня.

— Ну что ж, — громко растолковывал я ему, как глухому. — В приёмный покой вам надо, в первый корпус. Пойдёте, вот, значит, прямо мимо этих... памятников...

Но тут я заметил, что У самой цели силы оставили его, что не только расспрашивать дальше и передвигать ноги по гладкому асфальту, но держать в руке полуторакилограммовый затасканный мешочек ему было невмочь. И я решил:

— Ладно, папаша, провожу, пошли. Мешочек-то давай.

Слышал он хорошо. С облегчением он передал мне мешочек, налёг на мою подставленную руку и, почти не поднимая ног, полозя сапогами по асфальту, двинулся. Я повёл его под локоть через пальто, порыжевшее от пыли.

Раздувшийся живот будто перевешивал старика к переду. Он часто тяжело выдыхал.

Так мы пошли, два обтрёпыша, тою самой аллеей, где я в мыслях брал под руку красивейших девушек Ташкента. Долго, медленно мы тащились мимо тупых алебастровых бюстов.

Наконец, свернули. По нашему пути стояла скамья с прислоном. Мой спутник попросил посидеть. Меня тоже уже начинало подташнивать, я перестоял лишку. Мы сели. Отсюда и фонтан было видно тот самый.

Ещё по дороге старик мне сказал несколько фраз и теперь, отдышавшись, добавил. Ему нужно было на Урал, и прописка в паспорте у него была уральская, в этом вся беда. А болезнь прихватила его где-то под Тахиа-Ташем (где, я помнил, какой-то великий канал начинали строить, бросили потом). В Ургенче его месяц держали в больнице, выпускали воду из живота и из ног, хуже сделали — и выписали. В Чарджоу он с поезда сходил, и в Урсатьевской — но нигде его лечить не принимали, слали на Урал, по месту прописки. Ехать же в поезде никак ему сил не было, и денег не осталось на билет. И вот теперь в Ташкенте добился за два дня, чтобы положили.

Что он делал на юге, зачем его сюда занесло — уж я не спрашивал. Болезнь его была по медицинским справкам запетлистая, а если посмотреть на самого, так — последняя болезнь. Наглядясь на многих больных, я различал ясно, что в нём уже не оставалось жизненной силы. Губы его расслабились, речь была маловнятна, и какая-то тускловатость находила на глаза.

Даже кепка томила его. С трудом подняв руку, он стянул её на колени. Опять с трудом подняв руку, нечистым рукавом вытер со лба пот. Куполок его головы пролысел, а кругом, по темени, сохранились нечёсанные, сбитые пылью волосы, ещё русые. Не старость его довела, а болезнь.

На его шее, до жалкости потончавшей, цыплячьей, висело много кожи лишней, и отдельно ходил спереди трёхгранный кадык.

На чём было и голове держаться? Едва мы сели, она свалилась к нему на грудь, упершись подбородком.

Так он замер, с кепкой на коленях, с закрытыми глазами. Он, кажется, забыл, что мы только на минутку присели отдохнуть и что ему надо в приёмный покой.

Вблизи перед нами серебряной нитью взвивалась почти бесшумная фонтанная струя. По ту сторону прошли две девушки рядом. Я проводил их в спину. Одна была в оранжевой юбке, другая в бордовой. Обе мне очень понравились.

Сосед мой слышно вздохнул, перекатил голову по груди и, приподняв жёлто-серые веки, посмотрел на меня снизу сбоку:

— А курить у вас не найдётся, товарищ?

— И из головы выкинь, папаша! — прикрикнул я. — Нам с тобой хоть не куря бы ещё землю сапогами погрести. В зеркало на себя посмотри. Курить! (Я сам-то курить бросил месяц назад, еле оторвался.)

Он засопел. И опять посмотрел на меня из-под жёлтых век снизу вверх, как-то по-собачьему.

— Всё ж-таки, дай рубля три, товарищ!

Я задумался, дать или не дать. Что ни говори, я оставался ещё зэк, а он был как-никак вольный. Сколько я лет там работал — мне ничего не платили. А когда стали платить, так вычитали: за конвой, за освещение зоны, за ищеек, за начальство, за баланду.

Из маленького нагрудного кармана своей - шутовской курточки я достал клеёнчатый кошелёк, пересмотрел бумажки в нём. Вздохнул, протянул старику трёшницу.

— Спасибо, — просипел он. С трудом держа руку приподнятой, взял эту трёшницу, заложил её в карман — и тут же его освобождённая рука шлёпнулась на колено. А голова опять упёрлась подбородком в грудь.

Помолчали.

Перед нами за это время прошла женщина, потом ещё две студентки. Все трое мне очень понравились.

Годами так бывало, что ни голоса их не услышишь, ни стука каблочки.

— Ещё удачно получилось, что вам резолюцию поставили. А то б и неделю тут околачивались. Простое дело. Многие так.

Он оторвал подбородок от груди и повернулся ко мне. В глазах его просветился смысл, дрогнул голос, и речь стала разборчивее:

— Сынок! Меня кладут потому, что я заслуженный человек. Я ветеран революции. Мне Сергей Мироныч Киров под Царицыном лично руку пожал. Мне персональную пенсию должны платить.

Слабое движение щёк и губ — тень гордой улыбки — выразились на его небритом лице.

Я оглядел его тряпьё и ещё раз его самого.

— Почему ж не платят?

— Жизнь так полегла, — вздохнул он. — Теперь меня не признают. Какие архивы сгорели, какие потеряны. И свидетелей не собрать. И Сергей Мироныча убили... Сам я виноват, справок не скопил... Одна вот только есть...

Правую кисть — суставы пальцев её были кругло-опухшие, и пальцы мешали друг другу — он донёс до кармана, стал туда втискивать, — но тут короткое оживление его прервалось, он опять уронил руку, голову и замер.

Солнце уже западало за здания корпусов, и в приёмный покой (до него оставалась сотня шагов) надо было поспешить: в клиниках никогда не было легко с местами.

Я взял старика за плечо:

— Папаша! Очнись! Вон, видишь дверь? Видишь? Я пойду подтолкну пока. А ты сможешь — сам дойди, нет — меня подожди. Мешочек твой я заберу.

Он кивнул, будто понял.

В приёмном покое — куске большого обшарпанного зала, отгороженном грубыми перегородками (за ними где-то была здесь баня, переодевальня, парикмахерская), днём всегда теснились больные и измирили долгие часы, пока их примут. Но сейчас, на удивленье, не было ни души. Я постучал в

закрытое фанерное окошечко. Его растворила очень молодая сестра с носом-туфелькой, с губами, накрашенными не красной, а густо-лиловой помадой.

— Вам чего? — Она сидела за столом и читала, по всей видимости, комикс про шпионов.

Быстренькие такие у неё были глазки.

Я подал ей заявление с двумя резолюциями и сказал:

— Он еле ходит. Сейчас я его доведу.

— Не смейте никого вести! — резко вскрикнула она, даже не посмотрев бумажку. — Не знаете порядка? Больных принимаем только с девяти утра!

Это она не знала «порядка». Я просунул в форточку голову и, сколько поместилось, руку, чтоб она меня не прихлопнула. Там, отвесив криво нижнюю губу и скорчив физиономию гориллы, сказал блатным голосом, пришипывая:

— Слушай, барышня! Между прочим, я у тебя не в шестёрках.

Она сробела, отодвинула стул в глубь своей комнатёнки и сбавила:

— Приёма нет, гражданин! В девять утра.

— Ты — почти бумажку! — очень посоветовал я ей низким недоброжелательным голосом.

Она прочла.

— Ну, и что ж! Порядок общий. И завтра, может, мест не будет. Сегодня утром — не было.

Она даже как бы с удовольствием это выговорила, что сегодня утром мест не было, как бы укалывая этим меня.

— Но человек — проездом, понимаете? Ему деться некуда.

По мере того, как я выбирался из форточки назад и переставал говорить с лагерной ухваткой, лицо её принимало прежнее жестоко-весёлое выражение:

— У нас все приезжие! Куда их ложить? Ждут! Пусть на квартиру станет!

— Но вы — выйдите, посмотрите, в каком он состоянии.

— Ещё чего! Буду я ходить больных собирать! Я не санитарка!

И гордо дрогнула своим носом-туфелькой. Она так бойко-быстро отвечала, как будто была пружиной заведена на ответы.

— Так для кого вы тут сидите?! — хлопнул я ладонью по фанерной стенке, и посыпалась мелкая пыльца побелки. — Тогда закройте двери!

— Вас не спросили!! Нахал! — взорвалась она, вскочила, обежала кругом и появилась из коридорчика: — Кто вы такой? Не учите меня! Нам «скорая помощь» привозит!

Если б не эти грубо-лиловые губы и такой же лиловый маникюр, она была бы совсем недурна. Носик её украшал. И бровями она водила очень значительно. Халат на груди был широко отложен из-за духоты — и виднелась косынка, розовенькая славная и комсомольский значок.

— Как? Если б он не сам к вам пришёл, а его б на улице подобрала скорая — вы б его приняли? Есть такое правило?

Она высокомерно оглядела мою нелепую фигуру, я — оглядел её. Я совсем забыл, что у меня портянки высовываются из ботинок. Она фыркнула, но приняла сухой вид и окончила:

— Да, больной! Есть такое правило.

И ушла за перегородку.

Шорох послышался позади меня. Я оглянулся. Мой спутник уже стоял здесь. Он слышал и понял. Придерживаясь за стену и перетягиваясь к большой садовой скамье, поставленной для посетителей, он чуть помахивал правой кистью, держа в ней истёртый бумажник.

— Вот... — измождённо выговаривал он, — ... вот, покажите ей... пусть она... вот...

Я успел его поддержать, — опустил на скамью. Он беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог.

Я принял от него эту ветхую бумажку, подклеенную по сгибам от рассыпания, и развернул. Пишущей машинкой отпечатаны были фиолетовые строчки с буквами, пляшущими из ряда то вверх, то вниз:

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Справка.

Дана сия товарищу Боброву Н. К. в том, что в 1921 году он действительно состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов.

Комиссар....»

Подпись.

И бледная фиолетовая печать.

Поглаживая рукою грудь, я спросил тихо:

— Это что ж — «Особого Назначения»? Какой?

— Ага, — ответил он, едва придерживая веки незакрытыми. — Покажите ей.

Я видел его руку, его правую кисть — такую маленькую, со вздувшимися бурыми венами, с кругло-опухшими суставами, почти не способную вытянуть справку из бумажника. И вспомнил эту моду — как пешего рубили с коня наотмашь наискосок.

Странно... На полном размахе руки доворачивала саблю и сносила голову, шею, часть плеча эта правая кисть. А сейчас не могла удержать — бумажника...

Подойдя к фанерной форточке, я опять надавил *ее* Регистраторша, не поднимая головы, читала свой комикс. На странице вверх ногами я увидел благородного чекиста, прыгнувшего на подоконник с пистолетом.

Я тихо положил ей надорванную справку поверх книги и, обернувшись, всё время поглаживая грудь от тошноты, пошёл к выходу. Мне надо было лечь быстрее, головою пониже.

— Чего это бумажки раскладываете? Заберите, больной! — стрельнула девица через форточку мне вслед.

Ветеран глубоко ушёл в скамью. Голова и даже плечи его как бы осели в туловище. Раздвинуто повисли беспомощные пальцы. Свисало распахнутое пальто. Круглый раздутый живот неправдоподобно лежал в сгибе на бёдрах.

1960